

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТВОРЧІСТЬ АНДРІЯ БЕЛОГО
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
СРІБНОГО ВІКУ

Матеріали Всеукраїнської
наукової конференції,
присвяченої 120-річчю від дня
народження філософа, письменника

Дрогобич
Вимір
– 2000 –

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ – В ШТОПОРЕ МЫСЛИ

Охарактеризовать феномен Андрея Белого однозначно весьма затруднительно. Даже для него самого это непросто: “я мог бы быть: философом, поэтом, прозаиком, натуралистом, критиком, композитором, теософом, циркачом, наездником, фокусником, акробатом, костюмером и режиссером” (1, 427). В той или иной мере все эти творческие профессии он освоил.

Белый в гораздо большей степени поэт мысли, нежели кудесник слова. Легкое косноязычие с лихвой компенсируется неумением мысли. Лирическая сторона его творчества уравнивает когнитивные устремления.

Свой среди чужих, чужой среди своих – Белый – признается: “Мне приходится отбиваться и справа, и слева, и спереди, и с тыла; это – бой за действительную точку пересечения моего мировоззрительного многогранника; так я подыскиваю бронировку этого центра, символа в лозунгах: 1) многорядности знаний, 2) ограничения познанием знаний, 3) переложения и сочетания формул знаний друг в друга для построения эмблем смысловых фигур, 4) преодоления отвлеченного познания в мудрость символизма на этом пути” (432).

На арене мысли Белый – эквилибрист (но никак не жонглер): “Я в одном разрезе плюро-монист, в другом ду-монист, потому что теория символизма есть плюро-дуо-монизм” (438).

Существует точка зрения, согласно которой все написанное одним автором можно рассматривать как единый текст (метатекст). В случае прозаика (романиста) принято говорить о метаромане. Для Андрея Белого этот взгляд справедлив как ни для кого другого.

С другой стороны, множество всех текстов данного автора естественно рассматривать как пространство, исходя из смысловой, тематической близости текстов между собою. Конфигурация этого пространства зависит, впрочем, от фиксирования точки отсчета (от нас зависит выбор координатных осей (201)). Нас главным образом будет интересовать идейный пласт этого пространства.

Метатекст можно отождествить с пространством текстов. Разноплановость, разножанровость не мешает этому пространству оставаться связным континуумом. Более того, гетерогенность этого пространства позволяет использовать широкий спектр исследовательских стратегий. Рассматривая метатекст как художественный, мы вправе выявлять темы и мотивы, следить за игрой образов. Воспринимая его как научный, интересоваться логикой и методологией. Природа тех или иных текстов Белого с трудом поддается идентификации. Ему ничего не стоит

неожиданно сменить тему, сделать лирическое или аналитическое отступление. В повествование о детстве вплетается рассказ о “гносисе символического суждения” (425). Воспоминания о норвежских закатах, готических соборах, полотнах Кранаха и Гольбейна – лишь повод погрузиться в стихию мысли: “Я садился в удобное кресло на малой терраске, висящей над соснами, толщами камня и – фиордом; сосредотачивал все внимание на мысли, втягивающей в себя мои чувства и импульсы; тело, покрытое ритмами мысли, не слышало косности органов” (285). Слово под пером Белого легко включается и в ту или иную языковую игру, но может застыть в понятии и дать старт “наукоемкому” дискурсу. Такая амбивалентность связана отчасти с приглушенным мотивом *мимикрии* (311, 426, 430, 431).

Примером наиболее “протеистического” имени является *символ*. Он выступает и навязчивой *темой* (есть работа для психоаналитика) и неотвзойденной *проблемой* (полем скрупулезного исследования).

Уследить, угнаться за мыслью Белого далеко не просто. Не только он направляет ее в неизведанные дали, но и она затягивает его в непроходимые дебри. Рассуждение, зашедшее было в тупик в одной статье, вольно разворачивается в другой.

Ставшая популярной в последнее время метафора **пространства мысли** как нельзя лучше подходит к творчеству Белого. Универсализм его личности воплотился в многомерности ментального пространства. Движение мысли в этом пространстве происходит, невзирая на межтекстовые границы. Отдельной проблемой здесь может быть взаимосвязь (изоморфность, гомоморфность, гомологичность) пространств мысли и текста.

Концепция “возможных миров” возникла сравнительно недавно. Но ее суть хорошо ощущалась Андреем Белым: “в самих себе умеем мы переживать не только всю полноту окружающей действительности, но и всю полноту *недействительностей*, ведомых нам из поэтических сказок, религиозных мифов и так ясно нам теперь говорящей мистики; чувством как бы проникаем мы в реализм сказки; чувством мы живем во многих мирах” (210). Тем самым ментальное и текстовое пространство оказываются среди многочисленных имажинативных пространств.

Детальное описание поразительного мира мыслеобразов Белого представляет увлекательную задачу. Предлагаемые беглые путевые заметки не в состоянии отразить всего его богатства. Наша вылазка в этот мир ограничена сборником “Символизм как миропонимание” М.: Респубика, 1994, включающим философско ориентированные труды писателя.

Основную тему (лейтмотив) Белого долго искать не приходится. Автобиографический очерк “Почему я стал символистом...” открывается разъяснением: “Но прежде всего должен отметить основную *тему* символизма в себе. Я различаю себя в этой теме двояко (или даже трояко); я

ощущаю в себе становление темы символизма так, как она пела в душе моей с раннего детства; и я осознаю эту тему в усилиях ее идейно выгнать – уже позднее: при встречах с людьми... Ряд напластований лежит для меня на *моей теме...*” (418). Круг тем пополняется: “тема *третьего мира*, царства символа, индивидуума, тема многострунности: многие личности, строящие “Я”” (429).

Белый начинал с достаточно элементарной, двучленной модели *символа*: “Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ есть образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из природы” (22).

В дальнейшем это представление обогатилось: “Живой символ искусства, пронесенный историей сквозь века, преломляет в себе многообразные чувствования, многообразные идеи. Он – потенциал целой серии идей, чувств, волений. И отсюда-то разворачивается трехчленная формула символа, так сказать трехсмысленный смысл его: 1) символ как образ видимости, возбуждающий наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы в окружающей действительности; 2) символ как аллегория, выражающая идейный смысл образа: философский, религиозный, общественный; 3) символ как призыв к творчеству жизни. Но символический образ есть ни то, ни другое, ни третье. Он – живая целостность переживаемого содержания сознания” (123).

Белому важно подчеркнуть отличие *символа* от *синтеза*. Первое связано с (органическим) соединением. Второе возникает, “когда я полагаю разнородное вместе”; ““синтез” предполагает скорее механический конгломерат” (36).

Мысль понимается Белым весьма широко: “область мысли шире рассудка; рассудок есть известная способность, известная часть всего того процесса, который нас охватывает, когда мы мыслим в более широком смысле слова” (315).

Он тонко ощущает проблематичность связи мысли и слова: “мое убеждение, поскольку оно выражается в словах, часто не покрывает глубину мотивов, заставляющих меня исповедовать данное убеждение... мое убеждение разделяется на основании высказанных мною словесных формул; и обратно; но в том и другом случае формула не адекватна содержанию; это во-первых; во-вторых *de facto* никогда не бывает двух одинаковых убеждений, покрывающих всецело друг друга” (218). Сказанное соотносится с тезисом о кардинальной неперевоидимости и невозможности полного понимания.

Все это естественно приводит к проблеме мысли о мысли, т.е. философской проблематике.

Ключевым философским вопросом является отношение к *реальности*. Белый различает *реализм творчества* и *реализм бытия*: “механическая власть окружающего над самосознанием парализует волю, а только в

упражнении моей воли жив для меня окружающий мир; наоборот, власть надо мной моего воображения, уход в созерцание закрывает от меня живую действительность сном, сила и действительность которого в изменении условий жизни; первоначально мы ощущаем в себе две действительности (действительность внешнего опыта и действительность опыта внутреннего); подчиняя себя внешнему опыту, мы теряем сознание своего “я”; подчиняя себя опыту внутреннему, мы также растворяем единство нашего сознания в море иллюзий; только в трении опытов, в борьбе наше “я” ощущается свободным “я”” (214).

Материализм в узком смысле он отвергает, ведь “оказалось, что материи, как таковой, не существует” (27). То, что принято называть “научным мировоззрением” представляет, с его точки зрения, не более чем “глубокомысленный, правдоподобный “винегрет” понятий” (28).

Постулат *наивного реализма*, отождествление *действительности* с “действительностью видимых предметов опыта” Белый также отрицает. Его больше волнует вопрос, “куда же мы денем действительность опыта переживаемого?” (342). Он склоняется к тому, чтобы закрепить за термином *действительность* “непосредственно данное бытие” (30).

Фактически же речь идет об определенной иерархии: “все ступени действительностей – только неисчерпаемое богатство родины нашей, цветы и плоды древа жизни” (39). Приблизиться к подлинной действительности не просто: “действительности, воспринятые в законах, являют нам образ объективной действительности... деятельность (понятая как творчество) в мире данном воздвигает лестницу действительностей; и по этой лестнице мы идём” (38).

Оказываясь пионером и в области теории науки, Белый воспринимает познание как моделирование: “механическое объяснение есть всегда построение модели, но *смысл* модели (общелогический) исчезает”. “Итак, знание ведет нас к творчеству моделей” (114). Но он не был бы самим собой, если бы при этом не считал, что построение моделей и есть *символизация* (118). Ему удастся исчислить восемь моделей творческого процесса (художественного символизма) (116-118).

Мышление разворачивается по логическим рельсам. И здесь Белый чувствует себя как машинист в кабине поезда. Более того, иной раз складывается ощущение, что русский писатель логичнее папы римского: “Нас озабочивает ряд вопросов, на которые фрейбургская школа не дает ответа. Во первых, где в приведенном суждении субъект и где предикат?... Во-вторых, есть ли приведенное суждение, суждение синтетическое или суждение аналитическое в кантовском смысле...?” (67).

Но находиться долго в одномерной колее Белому не под силу. “При столкновении с искусством мы часто уподобляемся слепцам, оставшимся без поводья, когда логические законы, при всей их законченности, ничего не объясняют нам в области переживаемых эмоций.

Искусство ни логично, ни нелогично, а идейно. Идейность включает в себе и понятие логичности, и понятие нелогичности" (100). "Смена поэтических образов может сопровождаться и не сопровождаться сознанием логической обоснованности их. Нелогическая обоснованность дает право на существование данной смены образов" (99).

Белый занимает и особую методологическую позицию: "Я никогда не был объективен – сознательно, а, так сказать, много-объективен" (421). "Неудивительно, что тема в вариациях, идея многообразия, комплексности индивидуума... стала естественным приращением к теме символа" (420). Задача состоит в том, чтобы "вскрыть полифоничность, многосоставность и найти ритм диалектики течения метода в методе; в контрапункте течений увидеть тему в вариациях; тема без вариаций – абстрактный монизм; вариации без темы, их пересекающей – параллельные линии методов" (438). В такой постановке нет субъективизма, ведь "частных наук много; истолкований действительности столько же, сколько методов" (27). В то же время существует своеобразная диалектика волеия, творчества и созерцания: "начало всякого созерцания есть, в сущности, "мне видится"; "мне видится" переходит в решительное "я вижу"; "я вижу" далее становится "я хочу видеть так-то"" (213). Фактически здесь идет речь о трансформации пропозициональных (познавательных) установок (модусов).

Не удивительно, что в построениях Белого существенную роль играет концепт "точки зрения": "точка зрения породила науку; точка зрения развилась в метод" (26).

Белый предвосхитил современную эпистемологию и по вопросу о соизмеримости (взаимопереводимости) теорий: "наука и мировоззрение несоизмеримы" (28).

В результате становится "понятно, почему я впереи в анализ антиномий... в поисках пересечения я... сплетаю из противоречий венок; он уже достаточно колюч для меня: венок из терний; выход не в отказе от сложности – в гармонизации" (432), "моя проблема – проблема антиномии между субъективистическим символизмом и религиозным" (431).

Но не логике принадлежит последнее слово. Белый упивается "цветными лучами многообразных культур" (26). Он отстаивает примат культуры над другими формами общественного сознания: "культура возникает там, где еще нет в нашем смысле ни науки, ни художественной символики. Нельзя отождествлять культуру со знанием; знание есть упорядочение представлений о действительности". Наоборот, опираясь на "внутренне-переживаемый опыт", "образуя в истории сумму практических ценностей", культура "творит самые объекты знания" (20).

Белый частенько иронизирует над "мышлением в образах". Тем не менее мышление подобного рода для него органично. Его мысль плавно перетекает в образ, образ концентрируется в идею.

Мы остановимся лишь на образах *бездны*, *пропасти*, являющихся неотъемлемой чертой его интеллектуального ландшафта. Они связаны с геометрическим представлением о РАЗРЫВЕ, логическим понятием ПРОТИВОРЕЧИЯ, философским концептом АНТИНОМИИ. Пристальный взгляд Белого находит их почти всюду.

Изрезана трещинами гносеологическая сфера: “между *содержанием* и *методом* – непереступаемая бездна” (110). “В глубине познавательной бездны встречает нас ряд метафизических единств; в глубине другой бездны ряд универсальных, надындивидуальных Ликов” (44).

В бытийной сфере можно видеть “бездну, лежащую между индивидуальной и личной жизнями” (421). Но самая страшная – экзистенциальная бездна: “бездна, над которой повисли мы, глубже, мрачнее” (145), “пролом в *никуда* и *ничто* есть отверстие правды: загробного мира” (285).

Впрочем, не все то бездна, что может ужаснуть: “Неимоверная сложность Достоевского, несказанная глубина его образов – наполовину поддельная бездна, нарисованная иной раз прямо на плоскости” (196).

Центральная для Белого идея символа тесно связана с языковой проблематикой. “Образная речь состоит из слов, выражающих логически невыразимое впечатление мое от окружающих предметов... “Мысль изреченная есть ложь”, – говорит Тютчев. И он прав, если под мыслью понимает он мысль, высказываемую в ряде терминологических понятий. Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно – выражение сокровенной сущности моей природы” (131). Этот мистический пассаж взят из первого раздела “Магии слов”. Во втором же разделе этой статьи он занимается формальным описанием тропов на уровне современного структурализма (138-141).

Для Белого нет сомнений, что “слово – символ; оно есть понятное для меня соединение двух непонятных сущностей: доступного моему зрению пространства и глухо-звучащего во мне внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) временем” (131).

В то же время существуют и слова другой природы – (научные) термины. “Когда мы употребляем термины... мы должны твердо условиться понимать под этими терминами определенный, раз навсегда установленный смысл” (69). Их изучением должна заняться особая дисциплина. “Под терминологией разумею я несуществующую почти науку о терминах; такая наука должна была бы проследить генетическое развитие терминов... классифицировала бы их; она знакомила бы нас с правилами употребления терминов; ведь большинство теоретических споров вращается не вокруг смысла идей, а вокруг смысла, придаваемого идеям терминами. Смена философских систем есть главным образом смена терминологий; термин первоначально ясный с усложнением аппарата понятий затемняется; он требует тогда нового уяснения” (58).

Промежуточных образований между словами естественного языка и научными терминами Белый не приемлет. “Слово-термин – прекрасный и мертвый кристалл, образованный благодаря завершившемуся процессу разложения живого слова. Живое слово (слово-плоть) – цветущий организм... Другое дело зловонное слово полуобраз-полутермин, ни то, ни се – гниющая падаля, прикидывающаяся живой” (135).

Можно ли из языка выгнать человеческий фактор? “Изгоняя из слова всяческий психологизм, мы самое слово наделяем *sui generis* бытием; слово становится Логосом; самая логическая деятельность есть *sui generis* онтология; все попытки теории знания отрешиться от всяческого содержания сводятся к тому, что ее формы становятся содержаниями при попытках выразить их членораздельно (т.е. при помощи суждений)” (68).

Важные проблемы связаны с употреблением языка. За полвека до Дж. Остина русский мыслитель провозглашает: “слово рождает действие”, понимая последнее иначе, чем оксфордские философы: “действие есть продолжение мифического строительства” (137).

Философские и лингвистические рассуждения упираются в проблему смысла. Смыслы и слова отчуждены от индивида. Человек осваивает их в онтогенезе: “словам и смыслам их я научен извне” (419). На уровне филогенеза мысль трансформируется в смысл: “Сначала мысль заключалась в образе, в басне, затем центр тяжести переносится от образов басни к толкованию, а это вот значит: умеи прочесть здесь такую-то мысль, такой-то смысл. Наконец, этот смысл стал все более отставать от своего образного содержания, и стали как бы сквозь микроскоп рассматривать, какие мы операции производим, когда истолковываем что-либо” (315).

Эффективность научного понятия (термина) в известном смысле обратно пропорциональна его смысловой насыщенности: “самая плоскость научного образования понятий не пересекает ни разу вопроса о смысле этого образования; смысл жизни постоянно нас побуждает к словообразованию; само же образование научных терминов удаляет все более и более наше стремление к тому, чтобы понятия эти служили к утешению нас и к прояснению нам загадки нашего существования” (29).

Основной огонь Белый ведет по модным интеллектуальным направлениям: “новейшая философия нас лишает вопроса о смысле; смысл бессмыслен, законы, вопросы о смысле стали в современной философии бессмысленными, ибо стремление иссякло. Эрос, динамика – все это отжившее ничто, а смысла живого нет; есть научные теоретические рассудочные смыслы” (318). Анализ, “который всю человеческую жизнь разбивает на отдельные элементы” (318), а также редукция философии к “физиологии и анатомии акта познания” (316) Белого не устраивает.

Он иронизирует над статистическими подсчетами “всего того, что формирует слова, из которых слагается смысл”. Чисто количественный подход, разумеется, представляется неуместным. Но следующий его выпад

– уже мимо цели. “Как бы вы назвали того, кто сводил бы смысл главы к отдельным фразам, выделенным из текста, фразы – к отдельным словам”. Современная лингвистика дает ответ на этот вопрос – это специалист по генеративной (порождающей) семантике. Постановка же вопроса о редукции смысла целого к его компонентам была уже у современника Белого – Фреге. Зато следующий абзац отражает одну из фундаментальных идей лингвистики XX века – идею контекстуальной зависимости: ““Любовь зла не мыслит”. Это имеет смысл. Я выделяю слово “любовь”. Я могу пустить слово “любовь” в другом сочетании: “любовь и смерть”. Таким образом, могу ли я слово “любовь” выделять из данного контекста?”. Но очередной саркастический залп – снова из пушки по воробьям. Разлагая слово “любовь” на отдельные буквы, исследователь констатирует, что “осязая буквы алфавита, мы не осязаем слова” (319). Но это на самом деле никто и не утверждает. Попытки сконструировать смысл из графического (фонетического) материала не предпринимались. Рассмотренный сюжет демонстрирует контрастное чередование взлетов (прозрений) и провалов беспокойной мысли Белого.

Попытка тотального осмысления наталкивается на преграды: “исторически смысл знания менялся; характер этого изменения заключался в том, что смысл знания приводился к умению установить и использовать функциональную зависимость; но можно ли говорить о смысле самой зависимости? Было бы странно теперь рассуждать о смысле функций, дифференциалов и интегралов... наука изгоняет вопрос о жизненном смысле явлений... в предвидении еще не заключен смысл жизни” (29). “Сама трагедия нашего познания есть искус и преддверие к мистерии жизни; сначала ищем мы смысла жизни в терминах знания; и этот смысл от нас ускользает; потом ищем мы этого смысла познанием; и его не оказывается вовсе... И смысл открывается вне познания...” (39).

Проблема смысла связана и с искусством: “содержание искусства мы принуждены рассматривать то как *форму*, то как *смысл*: в первом случае многообразие данных выводим мы из единообразия логических отношений пространства и времени; во втором случае освещаем это многообразие с точки зрения целей творчества” (110).

Выявить смысл искусства гораздо легче, чем науки. “И только в отыскании смысла видимых образов или переживаний определим истинный смысл искусства. Но этот смысл религиозный” (122). Здесь нужно иметь в виду, что у Белого “религия есть универсальная связь; она не в форме, а в духе” (357), “религия есть связь переживаний” (331). “В нас лишь отразится (но не определится) смысл переживаемого художественного образа. Смысл искусства – пересоздать природу нашей личности; но только тогда отразится в нас смысл любого образа, когда этот образ будет безукоризненно воплощен в ряде технических приемов” (122). Мы видим,

как “высокая” проблема смысла “заземляется” на уровне художественного ремесла.

Заметим, что Белый вскрыл роль приема, существенно опередив русских формалистов: “формой искусства может служить самый прием творчества” (119), “форма в грубом смысле предопределена в символе приемом работы” (76). Тем самым он рассматривает искусства “не как застывшие, самодовлеющие формы, а как комплекты известных методологических приемов, приводящих нас к той или иной форме, к той или иной школе” (123). Но форма не сводится только к приему: “формы – это переживания, некогда воплощенные, а теперь потухающие, ибо они вогнаны в инстинкт” (331).

Кроме того, “изучая средства художественной изобразительности, мы различаем в них, во-первых, самый материал, во-вторых, прием, т.е. расположение материала”. “Рассматривая искусства с точки зрения материала его образующего, мы устанавливаем в творческом процессе лишь закон сохранения энергии и закон сопротивления материала” (42). Последняя мысль звучит почти по Шкловскому.

Гроссмейстер рассудка, певец символов, рыцарь отчаянных образов – Андрей Белый – остается неприкаянным странником в пространстве мысли. Его путь полон открытий и конфузов, крушений и откровений, иллюзий и побед. Он взмывал в эмпирии абстракций и завязал в болотах спекуляций, проникал в расщелины тайн и срывался в банальности. Но все время он двигался по спирали – “спираль есть простейшая линия мыслелета” (286).

Вспомним, что геометрия (в том числе и ментального) пространства определяется распределением в нем (в данном случае – смысловых) масс. Кривизна пространств Андрея Белого критична: “Разум наш сорвался... менуэт с философией – взрыв” (283).

1. Белый А. Символизм как миропонимание. – М. Республика, 1994. – 528с. Далее в круглых скобках указаны страницы этого издания.